

ХАНС ХАЙНЦ ЭВЕРС

Паук

Лилит.

И в этом — воля, не ведающая смерти...

Кто постигнет тайны воли во всей мощи её?

Джозеф Гленвилл ¹

РАССКАЗ

Студент медицинского факультета Ришар Бракемон переехал в комнату № 7 маленькой гостиницы «Стевенс» на улице Альфреда Стевенса, № 6, после того как три предыдущие пятницы подряд в этой самой комнате на перекладине окна повесились трое человек.

Первый из повесившихся был швейцарский коммивояжер. Его тело нашли только в субботу вечером; врач установил, что смерть наступила между пятью и шестью часами вечера в пятницу. Тело висело на большом крюке, вбитом в переплет окна в том месте, где переплет образует крест, и предназначенном, по-видимому, для вешания платья. Самоубийца повесился на шнурке от занавеси, окно было закрыто. Так как окно было очень низкое, то ноги несчастного коленями касались пола; он должен был проявить невероятную силу воли, чтобы привести в исполнение свое намерение. Далее было установлено, что самоубийца был женат и что он оставил после себя четверых детей; кроме того, было известно, что его материальное положение было вполне обеспеченное и что он отличался веселым и беззаботным нравом.

Второй случай самоубийства в этой комнате мало отличался от первого. Артист Карл Краузе, служивший в ближайшем цирке «Медрано» и проделывавший там эквилибристические фокусы на велосипеде, поселился в комнате № 7 два дня спустя. Так как в следующую пятницу он не явился в цирк, то директор послал за ним в гостиницу капельдинера. Капельдинер нашел артиста в его незапертой комнате повесившимся на перекладине окна — в той же обстановке, в какой повесился и первый жилец. Это самоубийство было не менее загадочно, чем первое: популярный и любимый публикой артист получал очень большое жалованье, ему было всего двадцать пять лет, и он пользовался всеми радостями жизни. И он также не оставил после себя никакой записки, никакого объяснения своего поступка. После него осталась только мать, которой сын аккуратно каждое первое число посылал 200 марок на ее содержание.

Для госпожи Дюбоннэ, содержательницы этой гостиницы, клиенты которой почти исключительно состояли из служащих в близлежащих монмартрских варьете, это второе загадочное самоубийство имело очень неприятные последствия. Некоторые жильцы выехали из гостиницы, а другие постоянные ее клиенты перестали у нее останавливаться. Она обратилась за советом к своему личному другу, комиссару IX участка, и тот обещал ей сделать все, что только от него зависит. И действительно, он не только самым усердным образом занялся расследованием причины самоубийства двух постояльцев, но отыскал ей также нового жильца для таинственной комнаты.

Шарль-Мария Шомье, служивший в полицейском управлении и добровольно согласившийся поселиться в комнате № 7, был старый морской волк, одиннадцать лет прослуживший во флоте. Когда он был сержантом, то ему не раз приходилось в Тонкине и Аннаме² оставаться по ночам одному на сторожевом посту и не раз приходилось угощать

¹ Джозеф Гленвилл (1636 — 1680) — английский священник и философ, автор трактата «Тщета догматики» (1661). (Прим. ред.)

² Административное название центрального Вьетнама в 1884–1945. (Прим. ред.)

зарядом лебелевского ружья желтых пиратов, неслышно подкрадывавшихся к нему во мраке. А потому казалось, что он создан для того, чтобы должным образом встретить «привидения», которыми прославилась улица Альфреда Стевенса. Он переселился в комнату в воскресенье вечером и спокойно улегся спать, мысленно благодаря госпожу Дюбодэ за вкусный и обильный ужин.

Каждый день утром и вечером Шомье заходил к комиссару, чтобы сделать ему короткий доклад. Доклады эти в первые дни ограничивались только заявлением, что все обстоит благополучно и что он ничего не заметил. Однако в среду вечером он сказал, что напал на кое-какие следы. На просьбу комиссара высказаться яснее он ответил отказом и прибавил, что пока еще не уверен, имеет ли это открытие какую-нибудь связь с двумя самоубийствами в этой комнате. Он сказал между прочим, что боится показаться смешным и что выскажется подробнее, когда будет уверен в себе. В четверг он вел себя менее уверенно и в то же время более серьезно, но нового ничего не рассказал. В пятницу утром он был сильно возбужден; сказал полушутя, полусерьезно, что как бы там ни было, но окно это действительно имеет какую-то странную притягательную силу. Однако Шомье утверждал, что это отнюдь не имеет никакого отношения к самоубийству и что его подняли бы на смех, если бы он еще к этому что-нибудь прибавил. Вечером того же дня он не пришел больше в полицейский участок: его нашли повесившимся на перекладине окна в его комнате.

На этот раз обстановка самоубийства была также до мельчайших подробностей та же самая, что и в двух предыдущих случаях: ноги самоубийцы касались пола, вместо веревки был употреблен шнурок от занавеси. Окно открыто, дверь не была заперта; смерть наступила в шестом часу вечера. Рот самоубийцы был широко раскрыт, язык был высунут.

Последствием этой третьей смерти в комнате № 7 было то, что в этот же день все жильцы гостиницы «Стевенс» выехали, за исключением, впрочем, одного немецкого учителя из № 16, который, однако, воспользовался этим случаем, чтобы на треть уменьшить свою плату за комнату. Слишком маленьким утешением для госпожи Дюбоннэ было то обстоятельство, что на следующий же день Мэри Гарден, звезда Опера-Комик, приехала к ней в великолепном экипаже и купила у нее за двести франков красный шнурок, на котором повесился самоубийца. Во-первых, это приносит счастье, а кроме того — об этом напишут в газетах.

Если бы все это произошло еще летом, так, в июле или в августе, то госпожа Дюбоннэ получила бы втрое больше за свой шнурок; тогда газеты целую неделю заполняли бы свои столбцы этой темой. Но в разгар сезона материала для газет более чем нужно: выборы, Марокко, Персия, крах банка в Нью-Йорке, не менее трех политических процессов — действительно, не хватало даже места. Вследствие этого происшествие на улице Альфреда Стевенса обратило на себя гораздо меньше внимания, чем оно того заслуживало. Власти составили короткий протокол — и тем дело было окончено.

Этот-то протокол только и знал студент медицинского факультета Ришар Бракемон, когда он решил нанять себе эту комнату. Одного факта, одной маленькой подробности он совсем не знал; к тому же этот факт казался до такой степени мелким и незначительным, что комиссар и никто другой из свидетелей не нашел нужным сообщить о нем репортерам. Только позже, после приключения со студентом, о нем вспомнили. Дело в том, что когда полицейские вынимали из петли тело сержанта Шарля-Мария Шомье, изо рта его выполз большой черный паук. Коридорный щелкнул паука пальцем и воскликнул:

— Черт возьми, опять это поганое животное.

Позже, во время следствия, касавшегося Бракемона, он заявил, что когда вынимали из петли тело швейцарского коммивояжера, то совершенно такой же паук сполз с его плеча. Но Ришар Бракемон ничего не знал об этом.

Он поселился в комнате № 7 две недели спустя после третьего самоубийства, в воскресенье. То, что он пережил там, он ежедневно записывал в свой дневник.

Дневник Ришара Бракемона, студента медицинского факультета

Понедельник, 28 февраля

Вчера я поселился в этой комнате. Я распаковал свои две корзины и разложил вещи, потом улегся спать. Выспался отлично; пробило девять часов, когда меня разбудил стук в дверь. Это была хозяйка, которая принесла мне завтрак. Она чрезвычайно внимательна ко мне, — это видно было по яйцам, ветчине и превосходному кофе, который она сама подала мне. Я вымылся и оделся, а потом стал наблюдать за тем, как коридорный прибирает мою комнату. При этом я курил трубку.

Итак, я водворился здесь. Я прекрасно знаю, что затеял опасную игру, но в то же время сознаю, что много выиграю, если мне удастся напасть на верный след. И если Париж некогда стоил мессы — теперь его так дешево уж не приобретешь, — то я, во всяком случае, могу поставить на карту свою недолгую жизнь. Но тут есть шанс; прекрасно, попытаю свое счастье.

Впрочем, и другие также хотели попытать свое счастье. Не менее двадцати семи человек являлись — одни в полицию, другие прямо к хозяйке — с просьбой получить комнату; среди этих претендентов были три дамы. Итак, в конкуренции недостатка не было; по-видимому, все это были такие же бедняки, как и я.

Но я «получил место». Почему? Ах, вероятно, я был единственный, которому удалось провести полицию при помощи одной «идеи». Нечего сказать, хороша идея! Конечно, это не что иное, как утка.

И рапорты эти предназначены для полиции, а потому мне доставляет удовольствие сейчас же сказать этим господам, что я ловко провел их. Если комиссар человек здравомыслящий, то он скажет: «Гм, вот потому-то Бракемон и оказался наиболее подходящим».

Впрочем, для меня совершенно безразлично, что он потом скажет: теперь я, во всяком случае, сижу здесь. И я считаю хорошим предзнаменованием то обстоятельство, что так ловко надул этих господ.

Начал я с того, что пошел к госпоже Дюбоннэ; но она отослала меня в полицейский участок. Целую неделю я каждый день шатался туда, и каждый день получал тот же ответ, что мое предложение «принято к сведению» и что я должен зайти завтра. Большая часть моих конкурентов очень быстро отстала от меня; по всей вероятности, они предпочли заняться чем-нибудь другим, а не сидеть в душном полицейском участке, ожидая целыми часами. Что же касается меня, то мое упорство, по-видимому, вывело из терпения даже комиссара. Наконец он объявил мне категорически, чтобы я больше не приходил, так как это ни к чему не приведет. Он сказал, что очень благодарен мне, так же как и другим, за мое доброе желание, но «дилетантские силы» совершенно не нужны. Если у меня к тому же нет выработанного плана действия...

Я сказал ему, что у меня есть план действия. Само собой разумеется, что у меня никаких планов не было и я не мог сказать ему ни слова относительно моего плана. Но я заявил ему, что открою свой план — очень хороший, но очень опасный, — могущий дать те же результаты, какие дает деятельность профессиональных полицейских, только в том случае, если он даст мне честное слово, что сам возьмется за его выполнение. За это он меня очень поблагодарил и сказал, что у него совсем нет времени на что-либо подобное. Но тут я увидел, что имею точку опоры, тем более что он спросил меня, не могу ли я ему хоть как-нибудь раскрыть свой план.

Это я сделал. Я рассказал ему невероятную чепуху, о которой за секунду перед тем не имел ни малейшего понятия; сам не знаю, откуда мне это вдруг пришло в голову. Я сказал ему, что из всех часов в неделю есть час, имеющий на людей какое-то странное, таинственное влияние. Это — тот час, в который Христос исчез из своего гроба, чтобы сойти в ад, то есть шестой вечерний час последнего дня еврейской недели. Я напомнил ему, что именно в этот час, в пятницу, между пятью и шестью часами, совершились все три самоубийства. Больше я ему ничего не могу сказать, заметил я ему, но попросил обратить

внимание на Откровение Святого Иоанна.

Комиссар соорудил такую физиономию, словно что-нибудь понял, поблагодарил меня и попросил опять прийти вечером. Я был пунктуален и явился в назначенное время в его бюро; перед ним на столе лежал Новый Завет. Я также в этот промежуток времени занимался тем же исследованием — прочел все Откровение и — ни слова в нем не понял. Весьма возможно, комиссар был умнее меня, во всяком случае он заявил мне очень любезно, что, несмотря на мой неясный намек, догадывается о моем плане. Потом он сказал, что готов идти навстречу моему желанию и оказать мне возможное содействие.

Должен сознаться, он действительно был со мной крайне предупредителен. Он заключил с хозяйкой условие, в силу которого она обязалась целиком содержать меня в гостинице. Он снабдил меня также великолепным револьвером и полицейским свистком; дежурным полицейским было приказано как можно чаще проходить по маленькой улице Альфреда Стевенса и по малейшему моему знаку идти ко мне. Но важнее всего было то, что он поставил в мою комнату настольный телефон, чтобы я мог всегда быть в общении с полицейским участком. Участок этот всего в четырех минутах ходьбы от меня, а потому я очень скоро могу иметь помощь, если только в этом случится надобность. Принимая все это во внимание, я не могу себе представить, чего мне бояться.

Вторник, 1 марта

Ничего не случилось ни вчера, ни сегодня. Госпожа Дюбоннэ принесла новый шнурок к занавеске из соседней комнаты — ведь у нее достаточно пустых комнат. Вообще она пользуется всяким случаем, чтобы приходить ко мне; и каждый раз она что-нибудь приносит. Я попросил ее еще раз рассказать мне со всеми подробностями о том, что произошло в моей комнате, однако не узнал ничего нового. Относительно причины самоубийств у нее было свое особое мнение. Что касается артиста, то она думает, что тут дело было в несчастной любви: когда он за год перед тем останавливался у нее, к нему часто приходила одна молодая дама, но на этот раз ее совсем не было видно. Что касается швейцарца, то она не знает, что заставило его принять роковое решение, — но разве влезешь человеку в душу? Ну, а сержант, несомненно, лишил себя жизни только для того, чтобы досадить ей.

Должен сказать, что объяснения госпожи Дюбоннэ отличаются некоторой неосновательностью, но я предоставил ей болтать, сколько ее душе угодно: как бы то ни было, она развлекает меня.

Четверг, 3 марта

Все еще ничего нового. Комиссар звонит мне по телефону раза два в день, я отвечаю ему, что чувствую себя превосходно; по-видимому, такое донесение не вполне удовлетворяет его. Я вынул свои медицинские книги и начал заниматься; таким образом, мое добровольное заключение принесет мне хоть какую-нибудь пользу.

Пятница, 4 марта, 2 часа пополудни

Я пообедал с аппетитом; хозяйка подала мне к обеду полбутылки шампанского. Это была настоящая трапеза приговоренного к смерти. Она смотрела на меня так, словно я уже на три четверти мертв. Уходя от меня, она со слезами просила меня пойти вместе с ней; по-видимому, она боялась, что я также повешусь, «чтобы досадить ей».

Я тщательно осмотрел новый шнурок для занавеси. Так, значит, на нем я должен сейчас повеситься? Гм, для этого у меня слишком мало желания. К тому же, шнурок жесткий и шершавый, и из него с трудом можно сделать петлю; нужно громадное желание, чтобы последовать примеру других. Теперь я сижу за своим столом, слева стоит телефон, справа

лежит револьвер. Я не испытываю и тени страха, но любопытство во мне есть.

6 часов вечера

Ничего не случилось, я чуть было не сказал — к сожалению! Роковой час наступил и прошел — и он был совсем такой же, как и все другие. Конечно, я не буду отрицать, что были мгновения, когда я чувствовал непреодолимое желание подойти к окну — о да, но из совсем других побуждений! Комиссар звонил по крайней мере раз десять между пятью и шестью часами, он проявлял такое же нетерпение, как и я сам. Но что касается госпожи Дюбоннэ, то она довольна: целую неделю жилец прожил в комнате № 7 и не повесился. Невероятно!

Понедельник, 7 марта

Я начинаю убеждаться в том, что мне не удастся ничего открыть, и я склонен думать, что самоубийство моих троих предшественников было простой случайностью. Я попросил комиссара еще раз сообщить мне все подробности трех самоубийств, так как был убежден, что если хорошенько вникнуть во все обстоятельства, то можно в конце концов напасть на истинную причину. Что касается меня самого, то я останусь здесь так долго, как это только будет возможно. Парижа я, конечно, не знаю, но я живу здесь даром и отлично откармливаюсь. К этому надо прибавить, что я много занимаюсь; я сам чувствую, что вошел во вкус с моими занятиями. И, наконец, есть и еще одна причина, которая удерживает меня здесь.

Среда, 9 марта

Итак, я сдвинулся на один шаг. Кларимонда...

Ах, да ведь я о Кларимонде ничего еще не рассказал. Итак, она моя «третья причина», вследствие которой я хочу здесь остаться, и из-за нее-то я и стремился к окну в тот «роковой» час, а отнюдь не для того, чтобы повеситься. Кларимонда — но почему я назвал ее так? Я не имею ни малейшего представления о том, как ее зовут, но у меня почему-то появилось желание называть ее Кларимондой. И я готов держать пари, что ее именно так и зовут, если только мне удастся когда-нибудь спросить ее об ее имени.

Я заметил Кларимонду в первый же день. Она живет по другую сторону очень узкой улицы, на которой находится моя гостиница; ее окно расположено как раз против моего. Она сидит у окна за занавеской. Кстати, должен сказать, что она начала смотреть на меня раньше, чем я на нее, — видно, что она интересуется мной. В этом нет ничего удивительного, вся улица знает, почему я здесь живу, — об этом уж позаботилась госпожа Дюбоннэ.

Уверяю, что я не принадлежу к числу очень влюбчивых натур, и отношения мои к женщинам всегда были очень сдержанны. Когда приезжаешь в Париж из провинции, чтобы изучать медицину, и при этом не имеешь денег даже на то, чтобы хоть раз в три дня досыта наестся, тут уж не до любви. Таким образом, я не отличаюсь опытом и на этот раз, быть может, держал себя очень глупо. Как бы то ни было, она мне нравится такой, какая она есть. Вначале мне и в голову не приходило заводить какие бы то ни было отношения с соседкой, живущей напротив меня. Я решил, что здесь я живу только для того, чтобы делать наблюдения; но раз оказалось, что при всем моем желании мне здесь все равно нечего делать, то я и начал наблюдать за своей соседкой. Нельзя же весь день, не отрываясь, сидеть за книгами. Я выяснил, между прочим, что Кларимонда, по-видимому, одна занимает маленькую квартирку. У нее три окна, по она всегда сидит у того окна, которое находится против моего; она сидит и прядет за маленькой старинной прялкой. Такую прялку я когда-то видел у моей бабушки, но она никогда ее не употребляла, а сохранила как воспоминание о

какой-то старой родственнице; я даже и не знал, что в наше время эти прялки еще употребляются. Впрочем, прялка Кларимонды маленькая и изящная, она вся белая и, по-видимому, сделана из слоновой кости; должно быть, она прядет на ней невероятно тонкие нити. Она весь день сидит за занавесками и работает не переставая, прекращает работу, только когда становится темно. Конечно, в эти туманные дни темнеет очень рано на нашей узкой улице — в пять часов уже наступают настоящие сумерки. Но никогда не видал я света в ее комнате.

Какая у нее наружность — этого я не знаю как следует. Ее черные волосы заливаются волнами, и лицо у нее очень бледное. Нос у нее узкий и маленький с подвижными ноздрями; губы также бледные; и мне кажется, что ее маленькие зубы заострены, как у хищных животных. На веках лежат темные тени, но когда она их поднимает, то ее большие темные глаза сверкают. Однако все это я гораздо больше чувствую, нежели действительно знаю. Трудно как следует рассмотреть что-нибудь за занавеской.

Еще одна подробность: она всегда одета в черное платье с высоким воротом; оно все в больших лиловых крапинках. И всегда у нее на руках длинные черные перчатки, — должно быть, она боится, что ее руки испортятся от работы. Странное впечатление производят эти узкие черные пальчики, которые быстро-быстро перебирают нитки и вытягивают их — совсем как какое-то насекомое с длинными ланками.

Наши отношения друг к другу? Должен сознаться, что пока они очень поверхностны, и все-таки мне кажется, что в действительности они гораздо глубже. Началось с того, что она посмотрела на мое окно, а я посмотрел на ее окно. Она увидела меня, а я увидел ее. И, по-видимому, я понравился ей, потому что однажды, когда я снова посмотрел на нее, она улыбнулась мне, и я, конечно, улыбнулся ей в ответ. Так продолжалось два дня, мы улыбались друг другу все чаще и чаще. Потом я чуть не каждый час принимал решение поклониться ей, но каждый раз какое-то безотчетное чувство удерживало меня от этого.

Наконец я все-таки решился на это сегодня после обеда. И Кларимонда ответила мне на мой поклон. Конечно, она кивнула головой чуть заметно, но все-таки я хорошо заметил это.

Четверг, 10 марта

Вчера я долго сидел над книгами. Не могу сказать, что я усердно занимался, нет, я строил воздушные замки и мечтал о Кларимонде. Спал я очень беспокойно, но проспал до позднего утра.

Когда я подошел к окну, то сейчас же увидел Кларимонду. Я поздоровался с нею, и она кивнула мне в ответ. Она улыбнулась и долго не сводила с меня глаз.

Я хотел заниматься, но не мог найти покоя. Я сел у окна и стал смотреть на нее. Тут я увидел, что и она также сложила руки на коленях. Я отдернул занавеску в сторону, потянув за шнурок. Почти в то же мгновение она сделала то же самое. Оба мы улыбнулись и посмотрели друг на друга.

Мне кажется, что мы просидели так целый час.

Потом она снова принялась за свою пряжу.

Суббота, 12 марта

Как быстро несется время. Я ем, пью и сажусь за письменный стол. Закурив трубку, я склоняюсь над книгами. Но не читаю ни одной строчки. Я стараюсь сосредоточиться, но уже заранее знаю, что это ни к чему не приведет. Потом я подхожу к окну. Я киваю головой, Кларимонда отвечает. Мы улыбаемся друг другу и не сводим друг с друга глаз целыми часами.

Вчера после обеда в шестом часу меня охватило какое-то беспокойство. Стало смеркаться очень рано, и мне сделалось как-то жутко. Я сидел за письменным столом и ждал. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет меня к окну — конечно, я не

собирался вешаться, я просто только хотел взглянуть на Кларимонду. Наконец я вскочил и спрятался за занавеской. Никогда, казалось мне, не видал я ее так ясно, несмотря на то, что стало уже довольно темно. Она пряла, но глаза ее были устремлены на меня. Меня охватило чувство блаженства, но в то же время я почувствовал смутный страх.

Зазвонил телефон. Я был вне себя от злобы на этого несносного комиссара, который своими глупыми вопросами оторвал меня от моих грез.

Сегодня утром он приходил ко мне вместе с госпожой Дюбоннэ. Последняя очень довольна мной, для нее уже совершенно достаточно того, что я прожил две недели в комнате № 7. Комиссар, однако, требует, кроме того, еще каких-нибудь результатов. Я сделал ему несколько таинственных намеков на то, что напал, наконец, на очень странный след; этот осел поверил мне. Во всяком случае, я могу еще долго жить здесь, а это мое единственное желание. И не ради кухни и погреба госпожи Дюбоннэ, — Боже мой, как скоро становишься равнодушным ко всему этому, когда каждый день наедаешься досыта, — но только ради ее окна, которое она ненавидит и которого боится и которое я люблю, потому что вижу в нем Кларимонду.

Когда я зажигаю свою лампу, то перестаю ее видеть. Я все глаза высмотрел, чтобы подметить, выходит ли она из дому, но так ни разу и не видел ее на улице. У меня есть большое удобное кресло и на лампу зеленый абажур, и эта лампа обдает меня теплом и уютом. Комиссар принес мне большой пакет табаку; такого хорошего я еще никогда не курил... и все-таки, несмотря на все это, я не могу работать. Я заставляю себя прочесть две или три страницы, но после этого у меня сейчас же является сознание, что я не понял ни единого слова из прочитанного. Один только мой взор воспринимает буквы, но голова моя отказывается мыслить. Странно! Как будто к моей голове привешен плакат: «вход воспрещается». Как будто в нее разрешен доступ одной только мысли: Кларимонда.

Воскресенье, 13 марта

Сегодня утром я видел маленькое представление. Я прогуливался в коридоре взад и вперед, пока коридорный прибирал мою комнату. На маленьком окне, выходящем на двор, висит паутина, толстый паук-крестовик сидит в центре паутины. Госпожа Дюбоннэ не позволяет убрать паука: ведь пауки приносят счастье, а в доме и без того было достаточно несчастья. Вдруг я увидел другого паука, который был гораздо меньше первого; он осторожно бегал вокруг сети — это был самец. Неуверенно он пополз по колеблющейся нити паутины к середине, но стоило только самке сделать движение, как он сейчас же испуганно бросился назад. Он подполз к другой стороне и попытался приблизиться оттуда. Наконец самка, сидевшая в середине, вняла его мольбам: она не двигалась больше. Самец дернул сперва осторожно за одну нить, так что паутина дрогнула; однако его возлюбленная не двинулась. Тогда он быстро, но с величайшей осторожностью приблизился к ней. Самка приняла его спокойно и отдалась его нежным объятиям; несколько минут оба паука неподвижно висели посреди большой паутины.

Потом я увидел, что самец медленно освободил одну ножку за другой; казалось, он хотел потихоньку удалиться и оставить свою возлюбленную одну в любовных мечтах. Вдруг он сразу освободился и побежал так быстро, как только мог, вон из паутины. Но в то же мгновение самка выказала сильнейшее беспокойство и быстро бросилась за ним вдогонку. Слабый самец спустился по одной нити, но его возлюбленная сейчас же последовала его примеру. Оба паука упали на подоконник; всеми силами самец старался спастись от преследования. Но поздно, его подруга уже схватила его своими сильными лапками и потащила снова в середину паутины. И это же самое место, которое только что служило ложем любви, послужило местом казни. Сперва возлюбленный пытался бороться, судорожно протягивал свои слабые ножки, стараясь высвободиться из этих ужасных объятий. Однако его возлюбленная не выпустила его больше. В несколько минут она обволокла его всего паутиной, так что он не мог больше двинуть ни одним членом. Потом она сдвинула его

своими цепкими клещами и стала жадно высасывать молодую кровь из тела своего возлюбленного. Я видел, как она, наконец, с презрением выбросила из паутины изуродованный до неузнаваемости комочек — ножки и кожу, переплетенные нитями паутины.

Так вот какова любовь у этих насекомых! Ну что ж, я очень рад, что я не молодой паук.

Понедельник, 14 марта

Я совершенно перестал заглядывать в свои книги. Я целые дни провожу у окна. Даже когда темнеет, я продолжаю сидеть у окна. Тогда я уже не вижу ее, но закрываю глаза, и ее образ стоит передо мной.

Гм, в своем дневнике я рассказываю о госпоже Дюбоннэ и о комиссаре, о пауках и о Кларимонде. Но ни одного слова о тех открытиях, которые я должен был сделать в этой комнате. Виноват ли я в этом?

Вторник, 15 марта

Мы придумали странную игру, Кларимонда и я; и мы играем в эту игру целый день. Я киваю ей, и она сейчас же отвечает мне кивком. Потом я начинаю барабанить пальцами по стеклу; едва она это замечает, как сейчас же начинает делать то же самое. Я делаю ей знак рукой, и она отвечает мне тем же; я шевелю губами, как бы говоря с ней, и она делает то же самое. Я откидываю свои волосы назад, и сейчас же она также подносит руку к своему лбу. Это выходит совсем по-детски, и оба мы смеемся над этим. Впрочем, она, собственно, не смеется, а только улыбается тихо и нежно, и мне кажется, что я сам улыбаюсь совсем так же.

Однако все это вовсе уж не так глупо, как могло бы казаться. Это не простое подражание друг другу — оно очень скоро надоело бы нам обоим, — нет, тут играет роль сродство мыслей. Дело в том, что Кларимонда мгновенно подражает малейшему моему движению: едва она замечает то, что я делаю, как тотчас делает то же самое, — иногда мне даже кажется, что все ее движения одновременно совпадают с моими. Вот это-то и приводит меня в восхищение; я всегда делаю что-нибудь новое, непредвиденное, и можно прямо поражаться, как быстро она все схватывает. Иногда у меня является желание заставить ее врасплох. Я делаю множество движений, одно за другим, потом повторяю еще раз то же самое и еще раз. В конце концов и в четвертый раз проделываю то же самое, но в другом порядке или пропускаю какое-нибудь движение и делаю новое. Это напоминает детскую игру «Птицы летят». И это прямо невероятно, что Кларимонда никогда ни разу не ошибется, хотя я проделываю все это так быстро, что, казалось бы, нет возможности разобраться в моих движениях.

Так я провожу целые дни. Но у меня ни на секунду не является такое чувство, будто я бесполезно провожу время; напротив, мне кажется, что я никогда не был занят более важным делом.

Среда, 16 марта

Не странно ли, что мне никогда не приходит в голову перенести мои отношения с Кларимондой на более реальную почву, а не ограничиваться только этой игрой? Прошлую ночь я долго думал над этим. Ведь стоит мне только взять шляпу и пальто и спуститься со второго этажа. Пройти пять шагов через улицу и потом снова подняться по лестнице на второй этаж. На дверях, конечно, висит дощечка, на которой написано «Кларимонда». Кларимонда, а дальше что? Не знаю, что именно: но имя Кларимонды написано на дощечке. Потом я стучу и...

Все это я представляю совершенно ясно, каждое малейшее движение, которое я сделаю, я представляю себе отчетливо. Но зато я не могу никак представить себе, что будет

потом. Дверь откроется, это я еще могу представить себе. Но перед дверью я останавливаюсь и всматриваюсь в темноту, в которой я ничего, ничего не могу различить. Она не появляется — я ничего не вижу, да и вообще там ничего нет. Я вижу только черный, непроницаемый мрак.

Иногда мне кажется, что только и существует та Кларимонда, которую я вижу там, у окна, и которая со мной играет. Я даже не могу себе представить, какой вид имела бы эта женщина в шляпе или в каком-нибудь другом платье, а не в этом черном с лиловыми пятнами; я не могу себе представить ее даже без ее черных перчаток. Если бы я встретил ее на улице или в каком-нибудь ресторане за едой или питьем или просто болтающей, — нет, даже смешно подумать об этом, до такой степени невозможной представляется мне эта картина.

Иногда я спрашиваю себя, люблю ли я ее. На это я не могу дать ответа, потому что никогда еще не любил. Но если то чувство, которое я испытываю к Кларимонде, действительно любовь, то это нечто совсем-совсем другое, чем то, что я видел у моих товарищей или о чем читал в романах.

Мне очень трудно дать отчет в моих ощущениях. Вообще мне очень трудно думать о чем-нибудь, не имеющем прямого отношения к Кларимонде или, вернее, к нашей игре. Ибо нельзя отрицать, что в сущности эта игра и только эта игра занимает меня, а не что-нибудь другое. И это я, во всяком случае, понимаю.

Кларимонда...ну да, меня, конечно, влечет к ней. Но к этому примешивается другое чувство, как если бы я чего-нибудь боялся. Боялся? Нет, это не то, это скорее застенчивость, смутный страх перед чем-то для меня неизвестным. Но именно этот-то страх и представляет собой нечто порабащающее, нечто сладостное, не позволяющее мне приблизиться к ней. У меня такое чувство, будто я бегаю вокруг нее в широком кругу, время от времени приближаюсь к ней, потом опять отбегаю от нее, устремляюсь в другое место, снова приближаюсь и снова убегаю. Пока наконец — я в этом твердо уверен — я все-таки не приближусь к ней окончательно.

Кларимонда сидит у окна и прядет. Она прядет длинные, тонкие, необычайно тонкие нити.

Из этих нитей она соткет ткань, не знаю, что из нее будет. Я не понимаю даже, как она соткет ткань из этих нежных тонких нитей, не перепутав и не оборвав их. В ее ткани будут удивительные узоры, сказочные животные и невероятные рожи.

Впрочем, что я пишу? Ведь я все равно не вижу, что она прядет; ее нити слишком тонки. И все-таки я чувствую, что работа ее именно такая, какую я себе представляю ее, когда закрываю глаза. Именно такая. Большая сеть со множеством фигур в ней — сказочные животные с невероятными рожами.

Четверг, 17 марта

Странное у меня состояние. Я почти не разговариваю больше ни с кем; даже с госпожой Дюбоннэ и с коридорными я едва только здороваюсь. Я едва даю себе время, чтобы поесть; мне только хочется сидеть у окна и играть с нею. Эта игра возбуждает меня, право, возбуждает.

И все время у меня такое чувство, будто завтра должно нечто случиться.

Пятница, 18 марта

Да, да, сегодня должно что-то случиться. Я повторяю это себе — совсем громко, чтобы услышать свой голос, — я говорю себе, что только для этого я нахожусь здесь. Но хуже всего то, что мне страшно. И этот страх, что со мной может случиться то же самое, что с моими предшественниками в этой комнате, смешивается со страхом перед Кларимондой. Я не могу больше разделить одного от другого.

Мне страшно, мне хочется кричать.

6 часов вечера

Скорее два слова, потом — за шляпу и пальто.

Когда пробило пять часов, силы мои иссякли. О, теперь я хорошо знаю, что есть что-то особенное в шестом часу предпоследнего дня недели — теперь я уже не смеюсь больше над той шуткой, которую проделал с комиссаром. Я сидел в своем кресле и всеми силами старался не сходить с него. Но меня тянуло, я рвался к окну. Я хотел во что бы то ни стало играть с Кларимондой — но тут примешивался страх перед окном. Я видел, как на нем висит швейцарец, большой, с толстой шеей и седоватой бородой. Я видел также стройного артиста и коренастого, сильного сержанта. Я видел всех троих, одного за другим, а потом всех троих зараз, на том же крюке, с раскрытыми ртами и высунутыми языками. А потом я увидел и себя самого среди них.

О, этот страх! Я чувствовал, что мною овладел ужас как перед перекладиной окна и отвратительным крюком, так и перед Кларимондой. Да простит она мне, но это так, в моем подлом страхе я все время примешивал ее образ к тем трем, которые висели, спустив ноги на пол.

Правда, ни на одно мгновение у меня не было желания повеситься; да я и не боялся, что сделаю это. Нет, я просто боялся чего-то страшного, неизвестного, что должно было случиться. У меня было страстное, непреодолимое желание встать и, вопреки всему, подойти к окну. И я уже хотел это сделать...

Тут зазвонил телефон. Я взял трубку и, не слушая того, что мне говорили, сам крикнул: «Приходите! Сейчас же приходите!»

Казалось, словно этот резкий крик в одно мгновение окончательно прогнал все страшные тени. Я успокоился в одно мгновение. Я вытер со лба пот и выпил стакан воды; потом я стал обдумывать, что сказать комиссару, когда он придет. Наконец я подошел к окну, кивнул и улыбнулся.

И Кларимонда кивнула мне в ответ и улыбнулась.

Пять минут спустя комиссар был у меня. Я сказал ему, что наконец-то я напал на настоящий след, но сегодня он должен пощадить меня и не расспрашивать, в самое ближайшее время я ему все объясню. Самое смешное было то, что когда я все это сочинял, то был твердо уверен в том, что говорю правду. Да и теперь, пожалуй, мне это так кажется... вопреки моей совести.

По всей вероятности, он заметил мое странное душевное состояние, в особенности, когда я затруднился объяснить ему мой крик в телефон и тщетно пытался выйти из этого затруднения. Он сказал мне только очень любезно, чтобы я с ним не стеснялся; он в моем полном распоряжении, в этом заключается его обязанность. Лучше он двенадцать раз приедет напрасно, чем заставит себя ждать, когда в нем окажется нужда. Потом он пригласил меня выйти с ним вместе на этот вечер, чтобы рассеяться немного; нехорошо так долго быть в одиночестве. Я принял его приглашение — хотя мне это было очень неприятно: я так неохотно расстаюсь теперь со своей комнатой.

Суббота, 19 марта

Мы были в «Gaité Rochechouart», а потом в «Cigale» и в «Lime Rousse». Комиссар был прав: для меня было очень полезно выйти и подышать другим воздухом. Вначале у меня было очень неприятное чувство, как будто я был дезертиром, который бежал от своего знамени. Но потом это чувство прошло; мы много пили, смеялись и болтали.

Подойдя сегодня утром к окну, я увидел Кларимонду, и мне показалось, что в ее взоре я прочел укор. Но, может быть, это мое воображение: откуда ей, собственно, знать, что я вчера

вечером выходил из дому? Впрочем, это мне показалось только на одно мгновение, потом я снова увидел ее улыбку.

Мы играли весь день.

Воскресенье, 20 марта

Только сегодня я могу писать. Вчера мы играли весь день.

Понедельник, 21 марта

Мы весь день играли.

Вторник, 22 марта

Да, сегодня мы делали то же самое. Ничего, ничего другого. Иногда я спрашиваю себя: зачем я, собственно, это делаю? Или: к чему это поведет, чего я этим хочу добиться? Но на эти вопросы я никогда не даю себе ответа, потому что ясно, что я ничего другого и не хочу, как только этого одного. И то, что должно случиться, и есть именно то, к чему я стремлюсь.

Эти дни мы разговаривали друг с другом, конечно, не произнося ни одного слова вслух. Иногда мы шевелили губами, но по большей части мы только смотрели друг на друга. Но мы очень хорошо понимали друг друга.

Я был прав: Кларимонда упрекнула меня в том, что я убежал в прошлую пятницу. Тогда я попросил у нее прощения и сказал, что это было глупо и скверно с моей стороны. Она простила меня, и я обещал ей не уходить в следующую пятницу. И мы поцеловались, мы долго прижимались губами к стеклу.

Среда, 23 марта

Теперь я знаю, что я люблю ее. Так это должно быть, я проникнут ею весь, до последнего фибра. Пусть для других людей любовь представляет собой нечто, иное. Но разве есть хоть одна голова, одно ухо, одна рука, которые были бы похожи на тысячи подобных им? Все отличаются друг от друга, так и любовь всегда различна. Правда, я знаю, что моя любовь совсем особенная. Но разве от этого она менее прекрасна? Я почти совсем счастлив в своей любви.

Если бы только не было этого страха! Иногда этот страх засыпает, и тогда я забываю его. Но это продолжается только несколько минут, потом страх снова просыпается во мне жалкой мышкой, которая борется с большой, прекрасной змеей, тщетно пытаюсь вырваться из ее мощных объятий. Подожди, глупый, маленький страх, скоро великая любовь поглотит тебя.

Четверг, 24 марта

Я сделал открытие: не я играю с Кларимондой, это она играет со мной.

Вот как это вышло.

Вчера вечером я думал — как и всегда — о нашей игре. И записал пять новых серий различных движений, которыми я собирался удивить ее на следующий день, — каждое движение было под известным номером. Я упражнялся в них, чтобы потом скорее проделывать их, сперва в одном порядке, потом в обратном. Это было очень трудно, но это доставило мне величайшее удовольствие, это как бы приближало меня к Кларимонде даже в те минуты, когда я ее не вижу. Я упражнялся целыми часами, наконец все пошло как по маслу.

И вот сегодня утром я подошел к окну. Мы поздоровались друг с другом, и потом началась игра. Прямо невероятно, как быстро она понимала меня, как она подражала мне в то же мгновение.

В эту минуту кто-то постучал в мою дверь; это был коридорный, который принес мои сапоги. Взяв сапоги и возвращаясь потом к окну, я случайно посмотрел на листок, на котором записал серии моих движений. И тут я увидел, что только что, стоя перед окном, не сделал ни одного из тех движений, которые записал.

Я пошатнулся, ухватился за спинку кресла и опустился в него. Я этому не верил, я еще и еще раз просмотрел то, что было записано на листочке. Но это было так: я только что перед окном проделывал целый ряд движений, но ни одного из моих.

И снова у меня явилось такое чувство: широко раскрывается дверь, ее дверь. Я стою перед раскрытой дверью и смотрю — ничего, ничего, лишь густой мрак. Тогда мне стало ясно: если я сейчас выйду, то буду спасен; и я почувствовал, что теперь могу уйти. Но, несмотря на это, я не уходил, и это было потому, что я ясно чувствовал, что держу в своих руках тайну. Крепко, в обеих руках. Париж — ты завоеешь Париж!

Одно мгновение Париж был сильнее Кларимонды.

Ах, теперь я совсем больше не думаю об этом. Теперь я чувствую только мою любовь и с ней вместе тихий, блаженный страх.

Но в то мгновение этот страх придал мне силы. Я еще раз прочел мою первую серию движений и старательно запомнил их. Потом я подошел к окну.

Я отдавал себе ясный, совершенно ясный отчет: я не сделал ни одного движения из тех, которые хотел сделать.

Тогда я решил потереть указательным пальцем нос, но вместо этого поцеловал стекло. Я хотел побарабанить по стеклу, но вместо этого провел рукой по волосам. Итак, мне стало ясно: не Кларимонда подражает тому, что делаю я, а скорее я подражаю ей. И делаю это так быстро, так молниеносно, что у меня создалось впечатление, будто инициатива исходит от меня.

А я, который так гордился тем, что влияю на нее, сам попадаю под ее влияние. Впрочем, это влияние такое нежное, такое ласкающее, что мне кажется, нет на свете ничего более благодетельного.

Я произвел еще несколько опытов. Я засунул обе руки в карманы и решил не двигаться; я стоял и пристально смотрел на нее. Я видел, как она подняла свою руку, как она засмеялась и слегка погрозила мне указательным пальцем. Я не шевелился. Я чувствовал, как моя правая рука стремится высвободиться из кармана, но я вцепился пальцами в подкладку. Потом медленно, через несколько минут, пальцы разжались, и я вынул руку из кармана и поднял ее. И я улыбнулся и тоже погрозил ей пальцем. Мне казалось, что это делаю не я, а кто-то другой, за кем я наблюдаю. Нет, нет, это было не так. Я, я делал это, а кто-то другой был тот сильный, который хотел сделать великое открытие, но это был не я.

Я — какое мне дело до каких бы то ни было открытий, — я здесь для того, чтобы исполнить волю Кларимонды, которую люблю в сладостном страхе.

Пятница, 25 марта

Я перерезал телефонную проволоку. Я не хочу, чтобы меня каждую минуту беспокоил этот глупый комиссар, да еще как раз в то время, когда наступает этот странный час.

Господи, зачем я все это пишу? Во всем этом нет ни слова правды. Мне кажется, будто кто-то водит моим пером.

Но я хочу, хочу, хочу записывать то, что со мной происходит. Это стоит мне громадного напряжения воли. Но я это сделаю. Еще только один раз то... что я хочу.

Я перерезал телефонную проволоку... ах!

Я должен был это сделать. Вот! Наконец-то! Потому что я должен был, должен был.

Сегодня мы стояли у наших окон и играли. Со вчерашнего дня наша игра изменила

свой характер. Она делает какое-нибудь движение, а я сопротивляюсь до тех пор, пока могу. Пока я, наконец, не уступаю и безвольно не подчиняюсь тому, чего она хочет. И я не могу выразить, какое блаженство сознавать себя побежденным, какое счастье отдаваться ее воле.

Мы играли. Потом вдруг она встала и ушла в глубь комнаты. Было так темно, что я не мог ее больше видеть; она как бы растаяла во мраке. Но потом она снова появилась у окна, держа в руках настольный телефон, совсем такой же, как и у меня. Она с улыбкой поставила его на подоконник, взяла нож, перерезала шнурок и снова отнесла телефон.

Я сопротивлялся добрых четверть часа. Страх мой был сильнее, чем раньше, но тем сладостнее было чувствовать себя мало-помалу поработанным. Наконец я взял свой аппарат, поставил его на окно, перерезал шнурок и снова отнес его на стол.

Так это случилось.

Я сижу за своим письменным столом: я напился чаю, коридорный только что вынес посуду. Я спросил его, который час, — мои часы идут неверно. Четверть шестого, четверть шестого.

Я знаю, стоит мне только поднять голову, как Кларимонда что-нибудь сделает. Она сделает что-нибудь такое, что и я должен буду сделать.

И я все-таки поднял голову. Она стоит в окне и смеется. Теперь — если бы я только мог отвернуться от нее, — теперь она подошла к занавеске. Она снимает шнурок — шнурок красный, совсем как у моего окна. Она делает петлю. Она прикрепляет шнурок к крюку на перекладине.

Потом она, улыбаясь, садится.

Нет, то, что я чувствую, это уже не страх. Это холодный, леденящий ужас, который я тем не менее не согласился бы променять ни на что на свете. Это какое-то невероятное поработание, но в то же время в этом непредотвратимом ужасе есть какое-то своеобразное наслаждение.

Я был бы способен подбежать к окну и сейчас же сделать то, что она хочет, но я жду, во мне происходит борьба, я сопротивляюсь. Я чувствую, что с каждой минутой та сила становится все непреодолимее.

* * *

Ну, вот, теперь я опять сижу за столом. Я быстро подбежал к окну и исполнил то, что она от меня ждала: взял шнурок, сделал петлю и повесил шнурок на крюк.

Теперь я уже больше не встану, теперь я буду смотреть только на бумагу. Я хорошо знаю, что она сделает, если я только на нее посмотрю в этот шестой час предпоследнего дня недели. Если я посмотрю на нее, то я должен буду исполнить то, что она хочет, тогда я должен буду...

Не буду смотреть на нее...

Вот я засмеялся громко. Нет, я не засмеялся, это во мне что-то засмеялось, И я знаю над чем: над моим «не хочу»...

Не хочу и все-таки знаю наверное, что должен это сделать. Я должен посмотреть на нее, должен, должен сделать это... и потом остальное.

Я только жду, чтобы продлить муки — эти страдания, от которых захватывает дыхание и которые в то же время доставляют величайшее наслаждение. Я пишу и пишу, чтобы подольше сидеть за столом, чтобы продлить эти секунды страдания, которые до бесконечности увеличивают счастье моей любви...

Еще немного, еще...

Опять этот страх, опять! Я знаю, что я посмотрю на нее, что встану, что повешусь; но я боюсь не этого. О нет — это прекрасно, это дивно.

Но есть нечто, нечто другое... что случится потом. Я не знаю, что это такое, но это случится наверное, ибо счастье моих мук так невероятно велико. О, я чувствую, чувствую, что за этим последует нечто ужасное.

Только бы не думать...

Писать что-нибудь, что попало, все равно что. Только скорее, не раздумывая...

Мое имя — Ришар Бракемон, Ришар Бракемон, Ришар... о, я не могу больше... Ришар Бракемон... Ришар Бракемон... теперь... теперь... я должен посмотреть на нее... Ришар Бракемон... я должен... нет еще... Ришар... Ришар Браке...

* * *

Комиссар IX участка, который не мог добиться ответа на свои звонки по телефону, вошел в гостиницу «Стевенс» в пять минут седьмого. В комнате № 7 он нашел студента Ришара Бракемона повесившимся на перекладине окна совершенно при той же обстановке, при какой повесились в этой комнате его трое предшественников.

Только на лице его было другое выражение: оно было искажено ужасом, глаза его были широко раскрыты и почти выходили из орбит. Губы были раздвинуты, но зубы были крепко стиснуты.

И между ними был раздавлен большой черный паук со странными лиловыми крапинками.

На столе лежал дневник студента. Комиссар прочел его и сейчас же пошел в дом на противоположной стороне улицы. Там он констатировал, что весь второй этаж уже в течение нескольких месяцев стоит пустой, без жильцов...